

СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ

МОГУЧАЯ И БЕССИЛЬНАЯ

(опыт нетрадиционного прочтения Н. А. Некрасова)

Он шел к Белинскому с твердым решением показать ему свои новые стихи. Он был почти уверен, что они не огорчат строгого критика, потому что действительно были новыми не только по времени написания, но и по содержанию, по отношению к жизни; а главное, были совсем непохожими на те, какие составили его первую в жизни книжечку "Мечты и звуки". В новых стихах было то, что ждал от него Белинский, поэт был уверен в этом.

Лермонтовское — гордое и злое: "И бросить им в лицо железный стих, облитый горечью и злостью" витало над ним, когда он — одно за другим — писал эти стихи. Злость, побуждавшая его к мужеству и как поэта, и как редактора "Современника", станет потом наиболее сильно звучащей струной его души. "Я стал бы на колени перед человеком, который лопнул бы от искренней злости — у нас ли мало к ней поводов", — писал он позже молодому Л. Н. Толстому.

Не мог Белинский не слышать этой совершенно новой ноты в его стихах... Так думал молодой Некрасов, поднимаясь по лестнице к дверям квартиры "Неистового Виссариона".

...Вошел.

Хозяин сидел за письменным столом, на котором беспорядочно громоздились стопки журналов и книг. Повернулся к гостю вместе со стулом, сказал: "Читайте". Поэт молча достал из внутреннего кармана свернутые аккуратно листы, хотя они ему были совсем ни к чему — стихи он помнил наизусть, — уткнулся в них, произнес: "В дороге". Перевел дух, продолжил:

Скучно! скучно!.. Ямщик удалой,
Разгони чем-нибудь мою скуку!
Песню, что ли, приятель, запой
Про рекрутский набор и разлуку...

Когда прозвучала последняя строка, Виссарион Григорьевич встал порывисто, в два шага приблизился к гостю, взял у него исписанные листы, быстро пробежал их глазами и воскликнул: "Да знаете ли вы, что вы поэт, и поэт истинный!"

Что чувствовал Некрасов в эту минуту, нетрудно представить. Конечно же, радовался, конечно же, ликовал. Ведь прошло всего четыре года, как этот же человек, непререкаемый авторитет среди литературной молодежи, разнес в пух и прах его "Мечты и звуки". А ведь и в той книжице, кроме религиозно-романтических, а иногда и мистических, оторванных от действительности **мечтаний** и **звуков**, ласкавших изнеженный слух тогдашней аристократии, были звуки и иного рода:

Кто духом слаб и немощен душою,
Ударов жребия могучею рукою
Бесстрашно отразить в чьем сердце силы нет...
Тот не поэт!

Разве не угадывался в этих стихах человек с сильным характером, будущий революционер-демократ, заступник народный?.. Однако Белинскому этой "заявки" показалось недостаточно, чтобы разглядеть за нею великого поэта. Меняясь в эти годы сам, поднимая на щит Гоголя, он и от поэзии требовал смелой и беспощадной критики крепостнической действительности (до отмены крепостного права оставалось еще целых двадцать лет)...

Прочитав уничтожающий отзыв Белинского, Некрасов тут же скупил свой сборничек и сжег его. Этот неординарный поступок девятнадцатилетнего поэта обнадежил прозорливого критика: что-то должно произойти! И он не ошибся: произошло! Не сразу, правда, не круто: для такой переналадки собственной лиры, какую осуществил молодой Некрасов, срок четыре года был не таким уж и большим.

Смело пойдя против течения, он решительно раздвинул рамки поэзии и, что самое главное, ввел в поэзию нового героя — мужика.

“Что может быть интересного в грубом и необразованном человеке?” — так настраивала и поэтов, и читателей аристократическая критика на примере стихов **нового** Некрасова, появившихся в коллективном “Петербургском сборнике”. За поэта ответил сам Белинский: “Природа — вечный образец искусства, а величайший и благороднейший предмет в природе — человек. А разве мужик не человек?”

Среди новых стихов Некрасова было несколько не просто хороших — по-настоящему новаторских творений, о которых потом похвально отзывались все выдающиеся критики — от Белинского и Чернышевского до К. Чуковского, Вл. Архипова, Ник. Скатова... Оставалось незамеченным в этом ряду стихотворение “Пьяница” — скорее всего, из-за непопулярности “низкой” темы, а если взглянуть глубже — **проблемы**, именуемой **пьянством**, проблемы, продолжавшей оставаться острой во все времена и для всех народов.

Поэтому, вопреки установившейся традиции, я хочу выделить среди стихотворений Некрасова той поры именно это: “Пьяница”.

Имея перед собой столь колоритную натуру, запросто можно было скатиться в грубый натурализм. Однако поэт счастливо избежал этой опасности. Он сосредоточился не на том, как **выглядит** спившийся человек, а на том, что он **чувствует**. Оказывается, у него и день, и ночь “В томительном борении сама с собой душа”... Кому из алчущих не знакомо это “борение”, поистине “томительное”? Страсть как хочется опохмелиться, но... хочется и удержаться, прервать затянувшийся запой, вернуться в семью, повиниться перед женой, пожалеть детей.

Увы, побеждает первое желание. И вот — результат:

...Мгла отовсюду черная
Навстречу бедняку.
Одна открыта торная
Дорога к кабаку.

Этой строфой стихотворение заканчивается. Последние два стиха в ней, по смыслу ключевые, ударные, звучат как острый социальный вывод и, значит, как обвинение обществу, оставившему “бедняку” открытой только одну дорогу.

И неудивительно, что поэт **сочувствует** пьянице и даже **жалеет** его, понимая, что он в самом прямом смысле жертва алкоголя, что известная ему **торная** дорога к кабаку появилась не сама собой. С годами **сочувствие**, жалость не выветрились из души поэта, и когда пришло к нему счастливое творческое озарение и начали писаться первые главы гениального творения “Кому на Руси жить хорошо”, — разгорелись с новой силой и отлились в искрометные главы: “Ярмонка” (так у Некрасова) и “Пьяная ночь”.

Сегодня самое время перечитать их, сделав акцент на “**пьяная**”, чем пренебрегли, к сожалению, многочисленные исследователи творчества великого поэта.

Уже само название главы возбуждало любопытство читателя. В сугубо деревенской поэме, от которой естественно было ожидать раскрытия поэзии крестьянского труда, традиционной лирики — пейзажной и любовной — вдруг... **пьяная** ночь!

А началось все не с ночи вовсе, а с яркого солнечного дня... Семь мужиков, коим в башку “втемяшилось” разузнать, “кому живется весело, вольготно на Руси”, попадают в большое село Кузминское, в котором, на их счастье, в этот день и “ярмонка”, и “праздник храмовой”.

В деревнях, через которые шли странники, “ни старого, ни малого” — все уже в Кузминском. Таких праздников, таких гульбищ, по духу поистине народных, складывавшихся веками и ставших традицией, люди в ту пору ждали, готовились к ним, шили обновы, берегли каждую копейку, чтобы было с чем и по торговым рядам пройтись (“ярмонка”!), и в кабаке посидеть (а их, палаточных, к этому дню становилось столько, что куда бы мужик ни свернул, а попадал все равно в кабак).

} Хмельно, горласто, празднично,
Пестро, красно кругом! —

воскликает поэт, восхищенный открывшимся его глазам многолюдьем и многоцветьем “ярмонки”. Он счастлив, он любит и живостью народных сцен, разыгрывающихся под высоким небом погожего дня, и выразительностью народной речи, и яркостью одежд. Счастлив, потому что все кругом родное, русское:

Штаны на парнях плисовые,
Жилеты полосатые,
Рубахи всех цветов;
На бабах платья красные,
У девок косы с лентами,
Лебедками плывут!

Венециановская прямо-таки картина! Нужно быть чурбаком, камнем, чтобы не почувствовать радость, которую испытывает поэт, любясь крестьянами. Да и как было не радоваться: все чинно, благородно, в рамках устоявшейся традиции, а говоря проще — в рамках **народной культуры**, никем не писанной, ни у кого не занятой — своей собственной, формировавшейся на протяжении веков: от каждого поколения следующего передавалось только то, что было поистине красиво, человечно, добропорядочно...

Вас. Белов в книге "Лад", посвященной описанию быта, обычаев и нравов северорусской (вологодской) деревни, о праздниках, в частности, о гостеваньях пишет так: "Ритуальная часть гостыбы состояла, с одной стороны, из потчевания, с другой — из благодарных отказов..." Анфиса Ивановна, престарелая мать писателя, рассказывала ему: "Больше всего боялись выпить лишнего и опозориться... Иные мужики ходили в гости со своей рюмкой (!), не доверяя объему хозяйской посуды". И "хозяин не обижался на такую предусмотрительность".

На "ярмонке", в кабаке, можно сказать, "на миру", конечно, все проще, все по-городскому: меньше сдержанности, больше раскованности, так как ни тебя там никто подчас не знает, ни ты никого. Кабацкие зазывалы и "потчеватели", нанятые на праздничные (ярмарочные) дни целовальниками, стараются вовсю: водочка льется легко и щедро... И вот уж некий Вавилушка, широкая душа, с их легкой руки "пропился до грошика" и, с удивлением обнаружив это, корит себя: вспомнил, что, отправляясь на "ярмонку", он "И старому, и малому // Подарков насылил". Качая хмельной головой, Вавилушка снова и снова повторяет:

Как я глаза бесстыжие
Домашним покажу?

Деньги-то он пропил, а совесть, оказывается, нет...

Другой бедняк, Калина, и вообще без грошика заявился на "ярмонку": не смог усидеть дома в такой день.

Для поэта никакая не загадка, как поступит в таком положении Калина: "В ноги кабатчику стукнется, // Горе потопит в вине". То есть заложит не только будущую трудовую копейку, но и душу грешную — тоже...

В написанной двумя годами раньше поэме "Коробейники" (1861 г.) поэт предоставил возможность высказаться на этот счет самому кабатчику. Нельзя не почувствовать в словах деревенского паука этакой наглой **чванливости** и даже **спеси**. И то, и другое стало второй его натурой за время занятия беспроектным промыслом — спаиванием селян.

Выше нет меня начальника,
Весь народ работник мой! —

хвастиливо выкрикивает он. И добавляет: "Сам не сею и не жну!". Да и зачем ему это? Дорогу к его "питейному заведению" с грошом в кармане любой мужик отыщет и с завязанными глазами. Обстоятельство для него поистине вдохновляющее:

Что родит земля им матушка,
Все несут в мою казну!

Божьим наказанием, нищетой, слезами матерей, жен и голодных детей оборачивалось для мужиков соседство с кабаком. Это поэт понимал уже тогда, когда писал стихотворение "Пьяница". У пьющего крестьянина: "Все та же хата бедная // Становится бедней, // И мать старуха бледная // Еще бледней, бледней..." Каждый, прочитавший эти строки, с горечью мог добавить: "Если бы только мать..."

Вполне естественно было ожидать от поэта резких слов в адрес тех, кто спаивает народ, кто наживается на его горе, — но и слов, осуждающих пьяную бесшабашность и Вавилы, и Калины... Но нет, как и в молодости, он сочувствует им! Понимает, что "храмовой" праздник для его героев — рабов сохи и борозды — едва ли не единственная возможность перевести дух, распрямиться, вспомнить, что и они — человеки...

Случившийся среди подгулявших уже мужиков "барин" Веретенников (кстати, в нем легко узнается сам поэт) слушает их, едва успевая записывать меткие словечки, пословицы, поговорки, бывальщины, песни и, радуясь столь богатому "улову", вдруг восклицает: "Умны крестьяне русские!" Но тут же, тяжело вздохнув, добавляет:

Одно нехорошо,
Что поют до одурения,
Во рвы, в канавы валяются —
Обидно поглядеть!

Не было в этих словах, мне кажется, ни оскорбления, ни унижения мужиков — было лишь сожаление, да и произнес их Веретенников с таким душевным расположением, сочувствием, однако чем-то все-таки они здорово их задели. Один, видимо, из тех, про кого говорят: “в карман за словом не ползет” (это был Яким Нагой) вдруг вскочил, вырвал карандаш из рук барина и гаркнул:

Постой, башка порожняя!
Шальных вестей, бессовестных
Про нас не разноси!

Ничего себе сценка! Это крепостной-то мужик так разговаривает с господином! Вот тебе и “быдло с психологией раба”, как сегодня с экранов телевизоров и со страниц русскоязычных газет клеймят русского человека. Нет, господа, не раб этот мужик, а потенциальный бунтарь, еще один “Савелий — богатырь святорусский”, — а уж его сподвижник — вне всякого сомнения, потому что не умерло в нем чувство человеческого достоинства, да и гордости своим предназначением на земле, своей далеко не последней ролью в царстве-государстве. “На мерочку господскую // Крестьянина не мерь!” — продолжает отчитывать барина Яким Нагой. Кажется, вот-вот сорвется он и на прямую угрозу, на “брань ядовитую”, подобную той, какой огрызнулся “бойкий детина” в сторону барина-самодура в стихотворении “Псовая охота”:

Мы-ста тебя взбутетением дубьем
Вместе с горластым твоим холуем!

Яким Нагой выражает свои чувства более сдержанно. Но чувствуется, что и у него на душе накипело, что пришло и к нему прозрение и он не позволит барину и дальше помыкать собою.

Не белоручки нежные,
А люди мы великие
В работе и гульбе! —

не говорит, а рубит Яким. И нельзя не почувствовать, сколько достоинства — гордого и даже вызывающего — в этих словах. Великие потому, мог бы добавить он, что не умеем ни работать в полсилы, ни пить-гулять с оглядкой — такова уж она, натура наша русская! И Яким еще обмолвится об этом в продолжение разговора...

Ну, а пока, сообразив, что высказался, пожалуй, слишком запальчиво (а барину могло даже показаться, что и хвастливо), он, заметно снизив тон, дает ему такую вот “справочку”:

Пьем много мы по времени,
А больше мы работаем,
Нас пьяных много видится,
А больше трезвых нас.

Вот так: пьем... но по времени! То есть по праздникам, это само собой, ну, и по другим известным поводам (в дни рождений, похорон, свадеб, проводов рекрутов...) По времени... Весьма и весьма важное уточнение!

Яким резко возражает “барину”, подозревавшему в крестьянах беспробудных пьяниц, опровергает его фактами; что называется, припирает к стенке:

...Видывал
В страду деревни русские?
В питейном, что ль, народ?

Ответ. ясен: в страду в деревнях лишь старые да малые. Народ (и даже подростки) в полях, в лугах: чертоломит, да так, что “трещит крестьянский пуп!”

Заинтересовал, и крепко, “барина” строптивый и острый на язык мужичонка: “Как звать тебя, старинушка?” — спросил. И услышал в ответ все еще обидчивое и оттого, пожалуй, заносчивое: “А что? Запишешь в книжечку?” И, малость помедлив, с тем же вызовом, решительно продиктовал:

Пиши: “В деревне Босове
Яким Нагой живет,

Он до смерти работает,
До полусмерти пьет!..”

Может быть, понимание великого смысла этой закономерности и сдержало поэта от резкого осуждения извечной мужицкой “слабости”, поддерживаемой в нем, темном и неразумном простачке, и царем, и господином, не говоря уж о кабатчике. “Он до смерти работает”, — услышав такое, барин уже не просто с удивлением — с уважением взгляделся в собеседника и понял: сущую правду глаголит! Только так и может выглядеть “работа до смерти”, как выглядел он:

Грудь впалая; как вдавленный
Живот; у глаз, у рта
Излучины, как трещины
На высохшей земле;
И сам на землю матушку
Похож он: шея бурая,
Как пласт, сохой отрезанный,
Кирпичное лицо,
Рука — кора древесная,
А волосы — песок.

“Похож на землю матушку...” Нужно ли добавлять что-нибудь к такому портрету, дабы представить еще и раму, обрамляющую его? И повернется ли у кого язык упрекнуть Яким-земелюшку за то, что он в праздник храмовой выпил лишнюю чарочку? Едва ли...

Не повернулся он и у поэта!
И все же, все же, все же...

Осудить — верно — язык не повернулся. Но и оправдать — тоже... И он решает прибегнуть к достаточно известному литературному приему — к нарочито безразличному, как бы со стороны увиденному, рассказу о послепьярмарочной ночи, ничего не добавляя и не прибавляя, а уж какое толкование будет дано всему этому — воля читателя.

Проследим более подробно, как развивалось это многоликое, в полном смысле народное действо в селе Кузминском. Поначалу оно выглядело вполне благопристойно и было не лишено внутреннего смысла и целесообразности: одни старались продать привезенный на “ярмонку” товар, другие, наоборот, — купить. У каждой палатки, возле телег — толпа.

Чего только не привезли на “ярмонку” крестьяне! Да и не диво: Русь в те времена славилась — и не напрасно! — мастерами-ремесленниками. И поэт не мог отказать себе в удовольствии полюбоваться добротными и разнообразными изделиями, сработанными их корявыми, но на удивление ловкими и умными руками в долгие зимние вечера при свете керосиновой лампы, а кое-где, может быть, и лучины.

С дотошностью и гордостью краеведа-патриота он перечисляет изделия, коими уже там и тут всюду шла “бойкая торговля”:

Косули, грабли, бороны,
Багры, станки тележные,
Ободья, топоры...

А в другом ряду еще и хомуты, и “обувь новая”, и “разная поделка деревянная”... Но самым главным и самым ходовым товаром на “ярмонке”, увы, оказались все же не крестьянские изделия, а ... **“вино”!** Поэту пришлось прибегнуть к солидной бухгалтерии, чтобы перечислить и “сложить” в единое число все “винные точки” — постоянно действующие, и специально к “ярмонке” открытые:

Помимо склада винного,
Харчевни, ресторации,
Десятка штофных лавочек,
Трех постоянных дворишков,
Да “ренковского” погреба,
Да пары кабаков,
Одиннадцать кабачников
Для праздника поставили
Палатки на селе.

Мне кажется, что столь подробное перечисление питейных заведений поэт вставил в поэму для того, чтобы дать понять, что означает спаивание народа на деле, какая сила мобилизуется заинтересованной стороной на то, чтобы опустошить не только крестьянские карманы, но и души. ...Кто-то из мужиков еще толкался в “лавочке с картинами и книгами” (были, слава Богу, и такие), кто-то заглядывал в зубы приглянувшейся лошади, а кто-то с выручки “пировал” уже в кабаке.

К полудню пирующих заметно поприбавилось, а к вечеру "гуляли" уже почти все, и случившемуся среди них трезвому было, как выразился сам поэт, "что голому, неловко"... С высоты птичьего полета все это выглядело весьма и весьма колоритно:

Шумит, поет, ругается,
Качается, валяется
У праздника народ...

Но вот уже и солнце село, стало темнеть. Начался разъезд, пьяный ярмарочный разъезд:

У кабаков смятение,
Подводы перепутались,
Испуганные лошади
Без седоков бегут,
Тут плачут жены, матери:
Легко ли из питейного
Дозваться мужиков?

Нелегко, можем представить... Одних приходится выталкивать, других выносить... И все же "питейные" в конце концов пустеют. Кабатчики считают выручку, радуются: хватит и для царской казны, и себе останется. Подводы, скрипя, тянутся к выгону, к большой дороге; туда же налегке, так сказать, волокутся и пешие. Всё! "Ярмонка" отошла. Село затихло. Шумела теперь только дорога, ведущая из Кузминского к окрестным деревням.

Забылся на минуту поэт, не удержался от **прямой оценки** происходящего на дороге в эту "пьяную ночь":

Дорога многолюдная,
Что позже — **безобразнее**.
Все чаще попадают
Избитые, ползущие,
Лежащие пластом...

"Стон стоял" над дорогою, добавил далее поэт, слышалась "шальная, непотребная" ругань, взрывали темноту тревожные крики:

"Куда ты скачешь, Саввушка?"
(Кричит священник сотскому
Верхом, с казенной бляхою).
— В Кузминское скачу
За становым. Оказия:
Там впереди крестьянина
Убили... "Эх!.. Грехи!.."

Удручающая и действительно "безобразная" картина! Беспощадная по отношению к мужикам. Но что с них было взять, неграмотных и темных, наивно полагавших, что "вино", кроме того, что душу веселит, содержит в себе и нечто "лекарственное", иначе с чего бы оно так дорого стоило! Из этого убеждения, видимо, вышел и наш "знаменитый", первый из первых тост: "За ваше здоровье!" Предки, похоже, понимали его в прямом смысле.

О других свойствах "вина" некрасовские мужики, конечно, не знали; ни прочитать что-нибудь о них, ни услышать они не могли — разве что от случайно встреченного бывалого человека, вроде героя поэмы "Несчастные", бывшего политкаторжанина. Рассказывая о мрачных годах жестокой неволи, он признается слушателям: "Вином я **совесть усыплял // И ум гасил...**" Где уж было мужикам додуматься до столь "тонких" материй...

Один из героев лучшего из ранних рассказов-очерков Некрасова "Петербургские углы", бывший дворовый человек, предложив новому, еще незнакомому обитателю "угла" (М. Горький сказал бы "дна") распить с ним чарочку и получив отказ, удивлен столь странным, по его мнению, поступком: "Что ж вы **душе своей**, что ли, **добра не желаете?**" — спрашивает он, тараща глаза на сидящего перед ним человека. Сам-то он чуть ли не с детских лет знал: горе ли размыкать, живот ли поправить, ноги ли застуженные растереть — везде требовалось оно — "винцо".

Не что иное, как лекарство от простуды, подразумевает в нем и другой некрасовский мужичок. Промерзнув за день в лесу, он, едва переступив порог избы, с трудом шевеля застывшими губами, кричит: "Здравствуй, хозяйюшка! Здравствуйте, детки! **Выпить бы**, эки стоят холода!" Выпить — и значит "согреть нутро", предупредить простуду, не заболеть.

Подобное отношение “простых” людей к водке можно встретить на страницах сочинений и других русских классиков. И здесь вполне уместно будет привести два-три примера на этот счет.

Герои рассказов и очерков младшего современника Некрасова — Глеба Ивановича Успенского о “вине” думают не менее “уважительно”, чем их отцы и деды. В рассказе “Нравы Растеряевой улицы” мелкий чиновник в беседе с мастеровым Прохором Порфирычем, опираясь, видимо, на свой печальный опыт, нравоучительно сообщает ему: “...всею горю голова — водка”.

Прохор, с явной претензией на лучшее знание предмета, возражает: “Водка-с!.. Водка, она ничуть в этом деле... Она дана человеку на пользу... Потому она имеет в себе лекарственное”.

Другие персонажи из произведений русских писателей XIX века чаще вообще ничего не думают о водке — ни хорошо, ни плохо, — твердо зная лишь одно: водка — не вода, чем больше выпьешь — тем слаще “забалдеешь”, а “забалдев”, увидишь жизнь совсем в другом, розовом, свете, и захочется излиться душой перед первым встречным, а коли взбредет в башку, то и попетушиться перед кем, себя показать...

Остро переживал, наблюдая ничем не сдерживаемое, тупое, бессмысленное пьянство мужиков, Иван Алексеевич Бунин, расцвет творчества которого падает уже на предреволюционные и трудные для него последующие годы, прожитые в эмиграции.

Герои его произведений более чем на полвека ближе к нашим дням, однако и они по отношению к алкоголю остаются столь же невежественными, темными и непосвященными.

Крепкий мужичок из знаменитой повести И. А. Бунина “Деревня” (1909—1910 гг.) Тихон Краснов убежден, что “водка кровь полирует”, а когда у него дает слабинку и “брюхо”, он прибегает к тому же “лекарству” — выпивает “стакан водки с перцем и солью”, твердо веря в исцеляющую силу самого популярного у деревенских жителей снадобья.

Главный герой другого бунинского рассказа, Захар Воробьев, о водке вообще ничего не слышал, кроме разве того, что у каждого крещеного есть своя мера ее потребления. Лично у него она довольно-таки большая, а какая точно, он даже и не знал, потому как ему еще и не довелось ни разу принять ее всю, до края: всегда казалось, что мог бы выпить и еще...

В свои сорок лет, сообщает писатель, Захар был “здоров на редкость”, “отлично сложен” и “настолько выше, крупнее обыкновенных людей, что его можно было показывать”. К тому дню, когда разыгралась трагедия с участием этого “богатыря”, “гиганта”, по определению автора, подоспел какой-то совсем незначительный праздник, “второй Спас”, что ли... “Хорошо бы теперь для праздничка выпить немножко”, — сказал Захар в кругу своих мужичков; вяло сказал, обыденно, без всякой надежды на то, что кто-то поднесет. Но пьяница Алешка, преследуя свой интерес, зацепился за эти слова и “тотчас затеял спор: может ли Захар выпить за час четверть?” (Напомню читателям: четверть — это пять бутылок по 0,5 литра — в ту пору такая “емкость” была в моде.) “А с закуской?” (И это было единственное, что уточнил Захар.)

Лешка ответил: “Можешь требовать что угодно, на полтинник... А проспоришь — за все втрое отдашь”.

Захар “на спор пошел охотно”, подумав, видимо, что четверть — если и больше его “меры”, то не намного, а с закуской может оказаться и вообще в самый раз... И надо быть круглым дураком, чтобы отказаться от столь счастливо свалившегося на его голову дарового угощения...

...Четверть в руках Захара довольно быстро опустела на половину. “Держа пустеющую бутылку под мышкой, он цедил в медный корец светлую влагу, наполнял его до краев и, разгладив усы, припадал к ней, пахнувшей остро и сыто, влажными губами; тянул же медленно, с наслаждением, как ключевую воду в жаркий день, а допив до дна, кричал”. Скажу честно, я лично сомневаюсь насчет “наслаждения” и “ключевой воды”... Но ведь кто пьет-то?! “Богатырь!” “Гигант!”

Урядник с кучером, принявшие участие в споре на стороне Алешки, с ужасом наблюдали, как легко управляется Захар с четвертью. Страхась проиграть спор, урядник незаметно передвинул стрелки на четверть часа вперед, сказав при этом Захару: “А ведь пять минут всего осталось”.

Захар — пьяный-пьяный, а усомнился все же: слишком быстро пролетело время. Но спорить не стал, попросил дать ему сроку еще полчаса.

Не дали.

И тогда он “одним духом допил бутылку”. Допил... встал... пошел... в деревню Жилово... Там, вспомнилось ему, есть винная лавка. Там можно выпить еще... Зачем? Этот вопрос перед ним уже не вставал...

Лавочник — “хромой мещанин” — без промедления исполнил его желание. “Сердце (у Захара) молотом било в голову...” “Лицо стало котельного цвета, отделилось от русой

бороды, уши вспухли от прилива крови. Как только закрылись его глаза, так сейчас же запрыгали во тьме перед ним тысячи малахитовых и багровых кругов, а сердце замерло, оборвалось — и все тело мягко ухнуло куда-то в пропасть”.

— Слухай... Я помираю... Шабаш... — сказал Захар. И следом, словно извиняясь перед лавочником, с трудом, но все же разборчиво добавил: — Не хочу тебя под беду подводить... Я отойду... отойду... — И твердо пошел на середину большой дороги. И, дойдя до середины, согнул колени — и тяжело, как бык, рухнул на спину, раскинув руки”.

Все! Душа Захара отлетела... Что произошло? А произошло отравление организма “богатыря” — его мозга, сердца, печени — наркотическим ядом, о наличии которого в “любимом напитке россиян” (Ю. Лужков) все еще сомневаются нынешние Захары. Доза этого яда (или, выражаясь языком медицины, концентрация его в крови Захара Воробьева) оказалась не просто большой, когда все могло еще закончиться тяжелым похмельем, — она оказалась **смертельной**.

Думал ли Захар, что затеянный Алешкой глупый спор может закончиться для него столь печально? Уверен, не думал. Но знать, конечно, знал, что, выпив (за час!) четверть (два с половиной литра!), он сильно опьянеет, может быть, даже свалится и уснет в беспамятстве, — знал, но не принимал в расчет эту “мелочь”, поскольку “быль молодцу не укор”, — это во-первых, а во вторых — “пьяный проспится, дурак — никогда”. Этими откровениями, слетевшими с языка далеких предков, он сам перед собой, вполне возможно, оправдывал бесшабашность “подвига”, на который пошел...

Некрасов, Гл. Успенский, Бунин черпали материал для своих произведений в губерниях центральной России. А как было с пьянством в диких, слабо освоенных краях морозной Сибири и горного Урала?

В очерке Д. Н. Мамина-Сибиряка о бурлаках, сплавляющих по Чусовой нагруженные металлом баржи (“Бойцы”, 1883 г.), читаем: “За ужином, конечно, все пили, как умеет пить только один русский народ: без толка и смысла, а так, потому что предлагают пить”.

Речь тут о праздных и скучных, а потому пьяных днях ожидания настоящего дела, ради которого и собрались в верховьях реки Чусовой гонимые нуждой люди, — днях ожидания сплава. Но вот дело началось. Караваны барж, подхваченные быстрыми водами горной реки, поплыли (точнее было бы сказать — полетели) вниз. Пункт назначения — город Пермь.

Казалось бы, тут уж не до водки... Однако... Но предоставим слово самому писателю. Не в силах скрыть изумления, он сообщает: “...водка при отвале каравана, водка на каждой хватке, водка на съемке обмелевших барок и самое кромешное, беспросыпное пьянство, когда караван прибывает благополучно в Пермь...”

Водка, водка, водка... Даже в самых диких безлюдных местах, где проложила себе русло горная река, тоже — водка... Откуда она там? Может быть, бурлаки запаслись ею в дорогу и таскают в холщовых сумках вместе с краюхой черствого хлеба? Нет, этой заботой они не обременены... (Как не обременены подвозкой снарядов на фронте солдаты-артиллеристы: их дело стрелять...) Ящики с водкой (а в той обстановке — бочки) плывут вместе с караваном, причем в “голове” его: не дай Бог, отстанут...

Для водочных королей это “живые” деньги: бурлак ведь что получит — то и пропьет; для горнозаводчиков — это “жидкая валюта”, как говорят в наше время. Платить бурлакам в пути следования каравана этой “валютой” — считай, почти задаром сплавлять баржи с металлом в Пермь, а уж за половинную цену — так это точно...

Русофобы торжествуют, встречая подобные сцены в произведениях русских писателей, видя в них подтверждение всесветной молвы, что русский народ пьяница и другим быть не может, поскольку это заложено в него самой природой.

Для тех же, кто видит в своем народе прежде всего великого и бесстрашного труженика, кто сострадает ему в его лишениях и бедах, подобные примеры из русской литературы — всего лишь свидетельство его отсталости — культурной и нравственной (в чем вина не его), следствие “странностей” его характера, отличающегося простодушием, бесхитростностью, покладистостью, беспечностью — всем тем, что позволяло и позволяет хищникам всех мастей безжалостно, нагло дурачить его, обдирать как липку, вовлекая в пьянство.

Кому не ясно, что пьянство бурлаков на реке Чусовой **организовано** и “материально” **обеспечено** хозяевами сплавляемых барок, что оно наверняка было заложено ими в смету как самый надежный способ удешевления столь сложной и рискованной операции.

Представим на минуту: баржа “обмелела” (села на мель), а паводок не ждет, вода вот-вот схлынет, и она останется тут, зажата угрюмо нависшими над нею скалистыми берегами... Нет, хозяева не могут допустить такой потери; баржу надо снять с мели и поставить снова на воду. Трудно даже вообразить, какая силища нужна для этого! И бурлаки являли эту силу. В кромешной тьме, по грудь в ледяной воде они натягивали канаты, рубили “катки” и “ваги”, орудовали воротом...

И во что же обходилась хозяину эта работа? А в два-три ведра водки — не больше. Прикинувшись таким добряком, он выкатывал бочку с "огненной водой" пред очи бурлаков и орал: "Пейте, молодцы, заслужили!"

...Но вернемся на некрасовскую "пьяную дорогу".

"Крестьянина убили!" — раздалось в темноте. Поп, услышав это, буркнул себе под нос: "Эх!.. Грехи!" И все... Как восприняли эту весть сами крестьяне — ни слова. Да и событие только названо, но не показано. Хотя в ряду других, случившихся в эту ночь, оно самое значительное: убили человека. И нам, естественно, хочется знать, за что? Какова подоплека убийства? Не поделили что-то крестьяне? Обиды друг другу припомнили? Ответа нет. И потому мы с полным основанием можем думать, что убитый крестьянин — прямая жертва "пьяной ночи"... Подрался, видимо, с кем-то: ведь пьяный человек — зверь.

А "пьяная ночь", напомним, только еще началась. Да и дорога "стоголосая" вся еще впереди... И читатель волен думать: то ли еще будет?... А если это так, то не слишком ли дорого, в конце концов, обойдется мужикам веселая, бесшабашная, но уж слишком короткая отрешенность от жизни, во всех смыслах беспросветной?

Но именно к такому выводу, мне думается, и хотел поэт подтолкнуть читателей. Не ради же того только, чтобы блеснуть завидным знанием народной жизни, ее материи и духа в таком ярком проявлении, как "ярмонка", написал он эти главы.

Самому же мужицкому сословию, не впрямую, не от себя, а устами Матрены Корчагиной, мягко, не повышая голоса, намекнул, что подлинное счастье все же не в пьяных, до беспамятства, загулах, а в трезвости.

Согласившись поведать странникам про свою жизнь, Матрена Тимофеевна первым делом сообщает им:

Мне счастье в девках выпало:
У нас была хорошая,
Непьющая семья.

Не думаю, что эти слова явились откровением для странников: не с неба они свалились и не хуже Матрены знали, что **непьющая семья — счастливая семья**. И что в любой деревне ей завидуют, хотя не такое уж и редкое это явление; тот же Яким Нагой, опровергая вывод барина насчет пьянства крестьян, утверждал: "У нас на семью пьющую/Непьющая семья".

Матрене Тимофеевне повезло: она выросла в "непьющей", и значит, "хорошей" семье. И это для нее было действительно счастьем... Поэт не раскрыл, в чем оно конкретно выражалось, это счастье, и не потому, что не знал его в лицо, а просто "не пришлось тогда к слову".

В ходе работы над новой поэмой, получившей название "Дедушка" (1870 г.), случай такой ему представился. Главный герой поэмы — участник восстания декабристов, генерал, отбывший сибирскую каторгу, рассказывает внуку Саше о том, что он видел и слышал за долгие годы заточения, и особенно подробно об одном поразившем и восхитившем его "чуде"... Да, он именно так и выразился: "Чудо я, Саша, видал".

А "чудом" этим была затерявшаяся в "страшной глуши", "за Байкалом", необыкновенная деревушка, не просто красиво и добротн отстроенная, богатая, а прямо-таки благоденствующая, и счастливы были в ней, то есть жили в достатке, в праведных трудах и заботах не отдельные семьи, подобно той, в какой довелось родиться Матрене Корчагиной, а все подряд.

Чем же они были обязаны своему счастью? В первую очередь — "воле", нежданно-негаданно свалившейся на их головы ("Не было бы счастья, да несчастье помогло", — говорят о подобных случаях в народе, но об этом чуть позже); во вторую — **упорному, "честному" труду** и в третью — и это хочется подчеркнуть особо — **трезвости**, о которой Дедушка сообщил весьма лаконично, но почти торжественно: "Трезво и честно живут".

"Чудо я, Саша, видал", — захваченный нахлынувшими воспоминаниями, говорит Дедушка внуку. И прежде чем представить в натуре это "чудо", он уточняет, что ему предшествовало.

Оказывается:

Горсточку русских сослани
В страшную глушь, за раскол.
Волю да землю им дали;
Год незаметно прошел —
Едут туда комиссары,
Глядь — уж деревня стоит,

Риги, сараи, амбары!
В кузнице молот стучит,

Мельницу выстроят скоро.
Уж запаслись мужики
Зверем из темного бора,
Рыбой из вольной реки.

Вновь через год побывали,
Новое чудо нашли:
Жители хлеб собирали
С прежде бесплодной земли.
Дома одни лишь ребята
Да здоровенные псы,
Гуси кричат, поросята
Тычут в корыто носы...

...Так постепенно в полвека
Вырос огромный посад —
Воля и труд человека
Дивные дивы творят!
...Как там возделаны нивы,
Как там обильны стада!

Высокорослы, красивы
Жители, бодры всегда...
...Взросшие в нравах суровых,
Сами творят они суд,
Рекрутов ставят здоровых,
Трезво и честно живут.

Яркая, поистине чудная картина! Отчасти, может быть, идиллическая, но я не буду сейчас разбираться в степени ее достоверности. Важно, что поэт нарисовал ее, раскрыв тем самым, в чем оно заключалось — счастье Матрены Тимофеевны, выросшей в "непьющей" семье. Для ситуации, которую он избрал ("Горсточку русских сослали //В страшную глушь..."), картина эта вполне возможная, потому что ничего сверхъестественного в том, что сотворили в "глуши" "вольные" (свободные) русские люди, в ней нет.

И самое ценное в этой картине — не созерцание "чуда", а объяснение его: **"Трезво и честно живут!"** "Трезво" — и потому "честно": у трезвого человека всегда в наличии и честь (а значит — честность), и совесть (а значит — совесть); у пьяного они в большинстве случаев полностью отсутствуют, как отсутствуют и родственные им чувства стыда и греха. И нет ничего удивительного в том, что "горсточка русских", оказавшись с глазу на глаз с дикой природой, с дремучей тайгой и не тронутой сохою землей, без пищи и крыши над головой, — выжила, не погибла; что через год у них желтели срубам новые избы, дворы и амбары, а через два — они уже "хлеб собирали с прежде бесплодной земли".

Своротив гору нечеловечески трудных дел, они не свалились, обессилев, не умерли — наоборот, стали крепче, вырастили под стать себе детей, а потом и внуков. "Высокорослы, красивы... бодры всегда", — такими запомнились они Дедушке. И, как бывший военный, он со знанием дела добавил, что они и "Рекрутов ставят здоровых". (Кто из нынешних военачальников не позавидует, прочитав эти слова!)

Известно, что в некрасовские времена, как и сейчас, немало писалось и говорилось, что русский народ от природы ленив и вдобавок — пьяница. Особенно старались "западники" (в пику "славянофилам"), им подпевали помещики-крепостники, видевшие в крестьянине не человека, а раба, быдло, рабочую скотину. "Продается за 75 рублей ковер персидский да девка, умеющая прислуживать по дому", — подобными объявлениями буквально пестрели тогдашние газеты...

Некрасова, знавшего свой народ как никто из современных ему литераторов, восхищавшегося упорством, выносливостью и ловкостью его в труде, такая хула не могла не оскорблять. Всем своим творчеством он отвергал эту ложь о народе. Он как бы говорил его хулителям: дайте русскому человеку "волю" и землю, приобщите его к знаниям и культуре, устройте его быт, не спаивайте его корыстно, жестоко и неотступно, и он явит миру "чудо" почище того, какое увидел Дедушка.

Русские ссыльные, получившие нечаянно "волю" и землю, не угнетаемые физически, не унижаемые нравственно, не спаиваемые, — даже в безвыходном, казалось бы, положении, не упали духом, не опустили рук, вырубали вековой лес, раскорчевали и подняли целину, поставили высокие светлые избы, обзавелись домашним скотом и птицей и показали всему миру, какие они на самом деле "лентяи" и "пьяницы"...

В финале поэмы Некрасов, обладавший острым социальным чутьем, почти торжественно **возвещает**:

Русь поднимается
Неисчислимая...

И, возвещая, пророчествует:

Сила в ней скажется
Несокрушимая!

"Скажется" — здесь в смысле откроется, проявится, наконец и старый мир воочию увидит ее "неисчислимость" и "несокрушимость".

Что давало поэту право утверждать подобное? На что он рассчитывал в столь оптимистическом предвидении? В первую очередь, на пробуждающееся самосознание народа, на рост бунтарских настроений в нем ("Чаша с краями полна!") и, не в последнюю очередь, на "непьющую" семью, на здоровых, "не пропивших еще ум" мужиков...

И тут я приведу полные глубокого смысла слова из поэмы, которые, собственно, и побудили меня к настоящим раздумьям. Произносит их все тот же Яким Нагой.

У каждого крестьянина
Душа, что туча черная, —
Гневна, грозна — и надо бы
Громам греметь оттудова,
Кровавым лить дождям...

Здесь, сделав паузу, я поставил бы отточие, а не запятую, как у автора, чтобы читатель перевел дух, приготовился к восприятию следующей строки, ошеломляюще контрастной предшествующим:

А все вином кончается.

Такая черта народного характера не просто обескураживала поэта, она его убивала, порождала в душе горькое разочарование, делала его несчастным.

В таком состоянии, наверное, и вырвались из-под его пера загадочные строки в финале поэмы:

Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка Русь!

Могучая!.. Но в то же время и **бессильная**... Как совместить два этих взаимоисключающих понятия? Ну ладно — могучая... Тут вроде бы все ясно: и многолюдная, и богатая, и бескрайняя... Но почему при всем при том бессильная? То есть неспособная проявить свою могучесть, свою волю, свой характер?..

Не потому ли, что все в ней, и доброе, и злое, "все вином кончается"? В результате, хотя и гремят грома в грозном ее небе, но грома "сухие", при которых тучи, даже "черные", уплывают за горизонт, так и не пролившись дождем. И по всей Руси снова тишина, неподвижность, сон... Состояние, любезное сердцу любого "самовластного злодея" (Пушкин). Сам Некрасов охарактеризовал это состояние словами, полными горечи и отчаяния: "Русь не шелохнется, // Русь как убитая..." И хотя вслед за этим добавил: "Но загорелась в ней // Искра сокрытая", — она, эта искра, не воспринимается как реальность — воспринимается как мечта, как попытка выдать желаемое за сущее.

А сущее — вот оно: "Усадьбы переводятся, // Взамен их распложаются // Питейные дома". То есть кабаки, в которых у мужиков "все вином кончается". Кстати, эта черта народного характера беспокоила поэта и раньше. В те же молодые годы, когда у него написалось стихотворение "Пьяница", появилось и еще одно, близкое ему по идее, — "Вино".

Герой стихотворения, крепостной крестьянин, рассказывает три случая из своей жизни, когда "вино" спасло его от страшного преступления — смертоубийства. В первый раз вскипела в душе его обида на барина за то, что "без вины посекал" (выпорол на конюшне), опозорил перед людьми, а главное, перед его "ненаглядной". И он решил барину отомстить: "Нашептал мне нечистый в ночи // Неразумных и буйных речей".

Потом случился повод "казнить" и другого обидчика — старосту, отдавшего его "ненаглядную" — соседскую дочь — в жены другому ("С немилым ее повели... под венец").

А в третий раз он вознамерился лишить жизни купца, заживившего заработанные артелью деньги ("пришел за расчетом к нему", а он "велел меня в шею прогнать").

Униженный и оскорбленный, он наточил на старосту нож, а на купца даже "широкий топор", и уже отправился было на "дело", "для смелости выпив вина", да заглянул по пути в кабак, "осушил" еще "целый штоф" и не заметил, как "от души отлегло", безвольно повисла рука... Ну, а на утро, как и в первый раз, и во второй, "раздумье пришло"... Дескать, а стоит ли, а надо ли? "Удалый молодец" с легким сердцем трижды подытоживает:

Не водись-ка на свете вина,
Тошн был бы мне свет.
И пожалуй — силен сатана! —
Натворил бы я бед.

Он твердо убежден, что вино спасло его от тюрьмы... А то, что барин-самодур, староста-злодей, купец-грабитель остались неотмщенными — это не главное. Главное в том, что вино утишило взбунтовавшееся сердце, погасило злость, намерение мстить обидчикам и защитить таким образом свою честь.

Рассказчик откровенно радуется, что открыл в "вине" такую вот спасительную, сдерживающую силу, не догадываясь, что она, сила эта, была открыта и взята на заметку намного раньше теми, кто "гнал" вино и кто его разливал, преследуя одну цель — сделать его доступным и для городского обывателя, и для деревенского бедняка.

Это ими, алкогольными королями и правителями, пополняющими казну с его помощью, понатыканы на всех улицах и переулках городов и сел, на всех перекрестках дорог тысячи и тысячи кабаков, ларьков, трактиров, питейных домов взамен школ, добротных жилищ.

Никакой он не особенный, русский народ, в отношении пьянства. И если он сегодня пьет больше других (хотя это надо еще доказать), то только потому, что больше других нищ, темен и необразован; что его неотступней, беспощадней, яростней, чем других, спаивают (и значит, грабят и одурачивают) обанкротившиеся правители. Причем спаивают не всегда ради пополнения казны, но **всегда** ради оболванивания его, превращения в быдло с разжиженными мозгами, в безвольное, неспособное постоять за себя говорящее стадо.

Именно это имела в виду Екатерина II, сказав однажды, что пьяным народом управлять легче. Знала: пьяного можно, не беспокоясь, держать в черном теле, платить мало, кормить скудно: стерпит.

Напршивается и еще один вывод: чем ниже культура народа, чем примитивней и неразвитей его интеллект, тем неотразимей и беспощадней атакует его, подкашивая под корень, алкоголь. В знаменитом романе Вяч. Шишкова "Угрюм-река" есть сцена, красноречиво подтверждающая этот вывод. Главный герой повествования Прохор Громов в качестве скупщика пушнины прибывает к охотникам-аборигенам, промышляющим на Нижней Тунгуске и потому, видимо, называемым тунгусами. Без особых хлопот обогатившись дорогими мехами, по-божески заплатив за них, в основном различными товарами, он, в знак дружеского расположения, решил угостить тунгусов водкой. И вот чем это угощение закончилось:

"Возле дома барахталась куча пьяных тунгусов. Они таскали друг друга за длинные косы, плевались, плакали, орали песни. Из разбитых носов текла кровь. Увидели Прохора, закричали:

— Вот тебе сукно, бери обратно, вот сахар, чай, мука, свинец, порох. Все бери назад. Только вина дай!

Прохор гнал их прочь. Они валялись у него в ногах, целовали сапоги, ползали за ним на коленях, на четвереньках, плакали, молили:

— Давай, друг, вина! Сдохнем! Друг!"

В публицистике конца 1850-х годов и начала 1860-х (накануне освобождения крестьян и в первые годы после) проблема народного пьянства широко обсуждалась и либералами, и революционными демократами. Бедственное положение крепостной деревни, ее нищету либералы, например, склонны были объяснять тем, что крестьяне пьют. Винокурение из хлеба, писали они, обрекает на полуголодное существование семьи крестьян, а само пьянство уродует их быт, разрушает неписанные законы семейного лада, добропорядочности, коими деревня жила испокон.

Печатал такие статьи в своем "Современнике" и Н. А. Некрасов (Х а л ю т и н Н. "Мысли о возможности улучшения быта и нравственности низшего сословия России посредством уничтожения винокурения из хлеба", 1859, № 7; Ч е р н ы ш е в с к и й Н. Г. "Откупная система", 1858, № 10, "Винный акциз", 1859, № 5; Д о б р о л ю б о в Н. А. "Народное дело". (Распространение обществ трезвости), 1859, № 9, "О трезвости в России", 1859, № 9).

Особенно актуальной для того времени была большая и обстоятельная статья Добролюбова "Народное дело", в которой выдающийся критик, выступивший на сей раз в роли публициста, вопреки либеральным авторам (Н. Халютину, С. Шипову), утверждал, что пьянство — следствие крайней бедности народных масс, бедности, в психологическом плане граничащей с отчаянием. Изжить эту беду можно лишь изменив "условия быта (читай — жизни. — С. В.) низших классов", то есть добившись их освобождения революционным путем (сказать это вслух он не мог: цензура все равно бы не позволила).

Но главным и по-настоящему сенсационным в этой статье было решительное

опровержение установившегося мнения, что русский человек — пьяница по натуре, "что он с горя пьет и с радости пьет, пьет на родинах, на свадьбе и на похоронах, пьет в рабочий день — от усталости, вдвое пьет и в праздник — по случаю отдыха. Люди, по-видимому хорошо знавшие народ, — продолжал размышлять Добролюбов, — готовы были до слез спорить, что наш мужик скорее с жизнью расстанется, нежели с сивухой, скорее детей уморит с голоду, нежели перестанет обогащать откупщика. И трудно было не верить этим людям: факты там сильно говорили за них..."

"Факты говорили"... А ведь и сейчас, почти через полтора десятилетия, факты говорят то же самое. А против фактов, как говорится, не попрешь... Но вот жизнь (тогдашняя жизнь) совершенно неожиданно, вопреки непоколебимому, казалось бы, убеждению общества, стала предъявлять ему факты совершенно иного рода: люди отказывались от употребления водки, причем не поодиночке, а целыми деревнями, селами, уездами, волостями... Трезвость стала распространяться, как степной пожар, по центральным, а потом и окраинным губерниям России. Сообщения о мирских приговорах, зароках не покупать водки и не пить буквально наводнили страницы популярнейших газет — "Московских новостей", "Русского вестника", "Русского дневника"... Люди бросали пить, причем никем не понуждаемые, стихийно, иногда разве по доброму совету своего помещика или священника.

Добролюбов с дотошностью исследователя собрал и систематизировал все подобные публикации в газетах. И первое, что его удивило: среди "кабатчиков" ("откупщиков", "целовальников" — называли и так людей этого толка) началась настоящая паника. Еще бы! Деньги за откуп (то есть за право торговать водкой) заплачены, а выручки никакой... Чтобы соблазнить мужиков на выпивку, вернуть "русских пьяниц" в кабаки, откупщики стали снижать (и значительно!) цену на водку, а некоторые — выставлять ее на раслив даже бесплатно...

Были случаи — бесплатную мужики выпивали... Но тем дело и кончалось... Мирской приговор, зарок не пить, принятый на сходе при крестном целовании, действовал безотказно. Нарушивший его (были, конечно, такие) платил "миру" 6 рублей серебром, а при безденежье подставлял спину под 25 ударов розгами.

Однако во многих случаях "мир" уверенно отвергал столь унижительное наказание, считая, что и без него приговор будет соблюден, и на сем целовал крест. В результате, подытоживал Добролюбов, "сотни тысяч народа в каких-нибудь пять-шесть месяцев, без предварительных возбуждений и прокламаций в разных концах обширного государства отказались от водки".

Но что, собственно, произошло? Что послужило толчком для начала неслыханного, поистине "народного дела", как выразился Добролюбов? А ничего особенного... Просто водка к этому времени, и "распивочно, и на вынос", еще раз подорожала, а "лучше" (крепче) не стала; кабатчики продолжали бессовестно разбавлять ее, пускали в продажу "полугар", который даже неприхотливым мужикам казался "отравой"... И что бы вы думали?

Знаменитому русскому терпению пришел конец. Откуда-то взялось, а может быть, проснулось дремавшее за ненадобностью мужицкое самолюбие, ожило чувство человеческого достоинства. И чтобы удовлетворить его, надо было решиться на жертву — отказаться от водки. И мужики решились. "Пусть ее пьют, сказали, сами откупщики и целовальники!"

Оправдывая довольно солидный объем своей статьи, разросшейся за счет многочисленного цитирования оригинальнейших по содержанию и по стилю мирских приговоров и зароков не покупать и не пить водку, Добролюбов пояснил: "Мы придаем делу трезвости большое значение потому, что здесь выказалось в русском народе гораздо больше твердости духа и гораздо меньшая степень приверженности (его) к сивухе, чем обыкновенно предполагали".

А "предполагали", как он отметил в начале статьи, что русский народ "скорее с жизнью расстанется, чем с сивухой". Ложным оказалось предположение, оскорбительным по отношению к народу! И оно было опровергнуто. Не покаяниями, не молитвами, а делом. Живым "народным делом"!

Я с удовольствием привожу это высказывание Добролюбова, потому что вижу в нем еще одно авторитетнейшее подтверждение высказанной мною выше мысли: когда какой-нибудь народ сильно пьет, виноват не он, а тот, кто народом правит.

Итак, дорогую водку, водку-отраву народ отказался покупать. Хорошо это или плохо, с точки зрения правителя? Если он любит свой народ, жалеет и хочет видеть его здоровым и счастливым — хорошо! И ради этого "хорошо" он обязан держать цену на водку, не позволять торговцам превращать ее в товар, доступный любому и каждому.

Во времена Некрасова и Добролюбова сделать это было проще: водка была "хлебной" (и только "хлебной"! А значит, и цена на нее во всех питейных заведениях была, примерно, одинаковой. И если народ вдруг от нее отказывался, то хорошо знал, из-за чего, и был уверен в неопровержимости своих, как теперь говорят, аргументов.

Нынешние спаиватели народа стали намного изощренней в своем деле. Спирт у них теперь не столько хлебный, сколько древесный, а то какой-нибудь и похуже... И потому цена и качество водки самые разнообразные. И в магазине можно услышать: "Вам не нравится "сучок"? Так не покупайте! Возьмите "Кристалл"... Что? Дорого?.. Понимаем. Тогда все-таки "сучок"... Дешевле в три раза!.. Что? Сосед отравился? Ну, значит, не у нас покупал, на подпольную нарвался..."

Но это к слову...

"Народное дело", выразившееся в стихийном и, что особенно поражало, одно-временном отказе огромных масс людей от употребления водки, очень обрадовало Добролюбова. Он увидел в этом, по сути, чрезвычайном событии нечто гораздо большее, чем вызов или даже месть бессовестным откупщикам, — увидел весьма и весьма обнадеживающий симптом пробуждения самых низов народных, осознания ими своей силы, своих возможностей в противостоянии властям.

"Нет такой вещи, — размышлял критик в связи с указанным событием, — которую бы можно было гнуть и тянуть бесконечно: дойдя до известного предела, она непременно изломится или оборвется. Так точно нет на свете человека и нет общества, которого нельзя было бы **вывести из терпения**. Вечной апатии нельзя предположить в существе живущем; за летаргиею должна следовать или **смерть, или пробуждение к деятельной жизни**. Следовательно, ежели правда, что наш народ совершенно **равнодушен** к общественным делам, то из этого вытекает вопрос: нужно ли считать это **признаком близкой смерти нации или нужно ждать скорого пробуждения?**"

Как видим, Добролюбова (а значит, и Некрасова: статья печаталась в "Современнике", редактором которого был в это время он) глубоко волновал тот же вопрос, какой волнует сегодня и нас. Правда, в отличие от нас, они увязывали этот вопрос со "степенью приверженности народа к сивухе": Добролюбов — в статьях, Некрасов — в стихах.

Поэт не хуже Добролюбова знал свой народ, его характер, его обычаи и нравы, причем не по книгам и не по слухам, а по личным впечатлениям, почерпнутым в результате общения с ним. И понятно, что взгляд его на проблему "приверженности..." формировался, в первую очередь, на основании этого знания. Но то, что не обошлось тут и без влияния публицистов — авторов "Современника", в первую очередь Добролюбова, не подлежит сомнению. Блестящий ум своего молодого друга и соратника, его любовь к народу, патриотизм, гражданское мужество восхищали Некрасова, а безвременная его кончина стала глубоким душевным потрясением, что и нашло выражение в характерном для его поэтики прямом, открытом, в хорошем смысле публицистическом стихотворении "Памяти Добролюбова" (1864 г.):

...Но слишком рано твой ударил час
И вешнее перо из рук упало.
Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!

Года мину́ли, страсти улеглись,
И высоко вознесся ты над нами...
Плачь, русская земля! но и гордись —
С тех пор, как ты стоишь под небесами,

Такого сына не рождала ты
И в недра не брала свои обратно...

Как и Добролюбов, поэт понимал, что пьянство не только огромное социальное зло, но и великая беда народная. Никто из русских поэтов не писал так много о ней, как он, Некрасов; с горечью писал, с сожалением, понимая, что ни укорить, ни осудить за этот грех мужиков он не имеет права. Где им, лапотным, удрученным невзгодами жизни, было устоять перед соблазном выпить, если власть испытывала их такой возможностью на каждом шагу:

На всей тебе, Русь матушка,
Как клейма на преступнике,
Как на коне тавро,
Два слова нацарапаны:
"На вынос и распивочно".

Желание иметь перед собой (а точнее — под собой) пьяный народ у правителей Руси во все времена было сильнее благого намерения отрезвить его. Если бы можно было сделать это "малой кровью", не вводя в разор казну, кто-то из них, может быть, и попробовал бы (как в более близкие к нам времена попробовали Брежнев и Горбачев). Но для победы над "зеленым змием" нужны были деньги, и немалые, потому как

отрезвление народа — действительно, а не лицемерное, как при упомянутых "вождях", — влекло за собой не только сокращение винокурен и кабаков, оно предполагало огромную работу по повышению образования и культуры народа в самом широком значении этих слов.

Не дав образование народу, не повысив его культуру, пьянство победить невозможно.

Именно это имел в виду народный поэт, доверяя бумаге свою сокровенную мечту:

Эх! эх! придет ли времячко,
Когда (приди, желанное!..)
Дадут понять крестьянину...
Что книга книге розь?
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесет?
Ой, люди, люди русские!
Крестьяне православные,
Слыхали ли когда-нибудь
Вы эти имена?

Можно с полной уверенностью ответить за них: не слышали. И еще очень многого не слышали они, люди русские той поры, — многого из того, что могло бы облагородить их души, раскрыть им смысл жизни, ее самоценность...

Нынешние "крестьяне православные" слышали, конечно, и о Белинском, и о Гоголе, и о самом Некрасове, потому как (точь-в-точь по Пушкину) "чему-нибудь и как-нибудь" все же учились, но о том, что стоит за этими именами, увы, как и некрасовские мужички, толком сказать едва ли смогут.

Не скажет ничего вразумительного и следующее, идущее за ними поколение. По вокзалам, подвалам, трущобам России сегодня (я заканчиваю статью накануне нового, 1999 года) скитаются три миллиона беспризорников школьного возраста (вчера об этом сообщило ТВ), а еще миллионы бывают в школах от случая к случаю, потому что учителя, объявив голодовку (самое "грозное" их оружие!), бастуют.

Образование, культура, коих народ достиг в "проклятое" советское времячко, рухнули с пьедестала (довольно уже высокого!), и на него, рыгая и матерясь, вскарабкалось бескультурье, нашедшее выражение опять же в пьянстве, а еще в наркомании, порнографии, заказных убийствах, грабежах, кражах... И мы снова, как и полтора века назад Некрасов, принуждены мечтать о "времячке", когда народ поймет, "что книга книге розь". А уж газета газете — тем более.

Но, увы, пока об этом никакого понятия нет не только у крестьянина (ему можно и простить), но даже и у многих жителей столицы. Войдешь в метро, глянешь направо — дамочка в каракуле уперлась в "МК", глянешь налево — уважаемый господин — в еще более "желтый" листок... Поистине: покажи мне, что ты читаешь, и я скажу — кто ты...